

A painting of a woman's profile, facing left. She has dark, wavy hair and is wearing a red, off-the-shoulder top. The background is a textured blue. The text is overlaid on the left side of the image.

**МАЙКЛ
АРЛЕН**

**РОМАН
АЙРИС**

Майкл Арлен
Роман Айрис

«СОЮЗ»

1921

Арлен М.

Роман Айрис / М. Арлен — «СОЮЗ», 1921

ISBN 978-5-6050124-9-8

Два родных брата – Роджер и Антони Пуль. Так похожие внешне и все же такие разные. Роджер – баловень судьбы, увенчанный лаврами и славой. Антони – бледная тень своего брата, неудачник притягивающий к себе только горе и несчастье. Но вот в их жизни появляется прекрасная Айрис и в жизни братьев начинаются перемены, к которым кажется ни один из них не оказывается готов.

ISBN 978-5-6050124-9-8

© Арлен М., 1921

© СОЮЗ, 1921

Майкл Арлен Роман Айрис

Michael Arlen «Roman Iris», 1921



© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
WWW.SOYUZ.RU

I

Я прочел как-то у одного писателя, литературные достижения которого служат гарантией его осведомленности по этой части, что только выработанная сноровка, высокая техника, так сказать, дает писателю возможность начинать рассказ с определенного места и неуклонно вести его к определенному концу. Рассказ о том, что действительно было, – можете сами убедиться, слушая какого-нибудь крестьянина на постоялом дворе, – никогда не укладывается в стройные рамки, а кружит по извилинам памяти, пока не подойдет к концу или, вернее, пока беспорядочные, хотя и искусные, мазки памяти не закончат картины.

А дело все в том, что, несмотря на самые благие намерения, мне страшно трудно держаться той ясной последовательности, которую самый сговорчивый издатель вправе требовать от такой повести. Я снова и снова обуздываю свою память, не давая ей блуждать, возвращая ее к тому ходу событий, который имел место на моих глазах, или к событиям, о которых мне рассказали. Хотя эти события в действительности происходили не так последовательно, – да и самое понятие «происходили» к ним не всегда было применимо, – они все были связаны с внутренними причинами, и большинство из них было внутренними переживаниями... Когда я стараюсь, как можно правдивее, зарисовать эти тени, в моей памяти встает несколько ночей три ночи, главным образом: они, как праздничные костры, своим ярким пламенем со зловещим угаром освещают все, что произошло раньше и что случилось потом.

В самом деле, с двумя из нас мало что могло случиться после этой третьей и последней ночи. Ах, эта последняя ночь!.. Много можно утратить за одну ночь, и Роджер Пуль потерял все, что можно, Антони Пуль больше, чем можно, а Айрис? а я? – но и в рассказе нельзя бесконечно играть в прятки, надо когда-нибудь закончить (да надо и начать!).

Итак, это было в ту ночь, которую я вправе назвать первой, потому что тогда-то мяч окончательно полетел вниз, под откос; мне и следовало бы начать с описания мяча и откоса, но вижу, что мне не обойти праздничных костров, – иначе они будут мешать мне и сбивать.

Этот человек, Антони, никогда не умел ждать, а потому я должен рассказать о ночи его возвращения раньше, чем о дне его отъезда. Это была несчастная ночь, если даже откинуть его

отношение к ней. Я был подавлен, глупо грустил о том, с чем, подчиняясь законам времени, должен был давно примириться.

Итак, в конце июня, в час или час с лишним пополуночи, я медленно шел по Пикадилли, не торопясь достигнуть места своего назначения, так как все равно решил взять такси; Реджент-парк всегда очень далеко, и кажется еще более отдаленным в безлунную ночь с нависшими тучами, которую Англия, наверное, стащила у какой-нибудь душной и незаманчивой колонии. Я шел с наружного края тротуара, опустив голову, как обычно, когда ум мой омрачен. Вдруг, пересекая улочку, ведущую в двор Альбани, я обратил внимание на приглушенные звуки борьбы. Все дело продолжалось несколько секунд. В отдаленном конце темного тупика виднелись две сцепившиеся фигуры, которые иногда отскакивали друг от друга, чтобы размахнуться; насколько я мог судить, проделывали они это с большим воодушевлением, в полнейшей тишине, нарушаемой лишь прерывистым дыханием и шарканьем ног. Есть какое-то нездоровое любопытство в том интересе, с каким наблюдаешь за борьбой двух себе подобных (если судить по белым крахмальным манишкам). Оба были высокого роста, но тому, который был немного ниже, видимо, сильно попадало. Я бы, конечно, не вмешался в это дело, если бы не заметил отряда полисменов, шедшего по улице Вайн по направлению к нам.

– Довольно, – сказал я.

Было довольно и без моих слов. Один последний и не очень сильный удар сразил того, что был меньше ростом, и он покатился к витрине шляпного магазина, а другой, настоящий великан, поднял свой цилиндр, нахлобучил его на голову, как шлем крестоносца, и, не удовлетворяя взглядом своего противника, быстро пошел ко мне.

– В хороший тупик попала Англия, если воспитанием джентльменов приходится заниматься таким любителям, как я, – начал он еще издали. – Не так ли, Ронни?

Но я узнал его раньше, чем он назвал меня. Я смотрел на него с таким удивлением, что он разразился знакомым мне смехом.

– Антони! – вскрикнул я.

– Он самый, собственной персоной, приятель, – сказал он, хлопнув меня сердечно по плечу. – Я узнал тебя издали, пока вколачивал спартанские добродетели в этого молодого человека, и решил, что это как нельзя более кстати. – Но когда ты вернулся и откуда?

– Сегодня днем из Мексики, откуда же? И, черт возьми, – с горечью добавил, он повернувшись ко мне, – почему тебя так удивляет, что я вернулся на родину?

Ответ у меня был готов:

– Хотя бы потому, – сказал я, – что ты сам говорил, что, вероятно, никогда не вернешься.

– Никогда! Послушай, друг мой, а разве два года не то же, что твое «никогда»? Я начинаю понимать, что существует большая ложь, чем, «никогда», и это – «всегда». Например, я никогда не собирался возвращаться в Англию, а предполагалось, что некоторые из моих друзей всегда будут рады видеть меня.

В Антони чувствовалась какая-то большая, полновесная горечь, к которой я редко оставался глух, и я собирался опровергнуть его обвинение, когда он оглянулся на темную улочку и проворчал: «И это был один из них». Но пока мы разговаривали, потерпевший исчез, с тем, быть может, чтобы пораздумать над значением слова «всегда». Я пробормотал что-то насчет «настоящих друзей», и мы зашагали по направлению к цирку.

Я нервничал; меня смутил Антони таким бурным способом осознания своего положения в Англии, и я боялся сказать что-нибудь, что напомнило бы ему... «Как это похоже на него, думал я: остро ощущает больное место и не может молчать. Тут он сказал:

– Ты именно тот человек, который мне нужен, Ронни. У меня столько вопросов, что они могли бы занять целый день, если не больше; но я думаю, что за завтраком мы с ними справимся, хотя это зависит от того, где мы будем завтракать.

Так всегда было с Антони; он никогда не пытался скрыть, что ему от тебя что-то нужно. На этот раз, к счастью, речь шла только о завтраке.

– Приходи завтракать ко мне, – предложил я, а сердце ушло в пятки от боязни, что он посмотрит оскорбление в этом предложении.

Но он довольно охотно согласился. На Пикадилли, около цирка, я подзвал такси, а Антони сказал, что должен меня покинуть, так как ему надо в Карлтон. Это очень кстати решило затруднительный вопрос, как мне от него отделаться в настоящую минуту. Отойдя, он крикнул мне вслед:

– Не сообщай всему Лондону, что я вернулся. Будь другом.

Это была совершенно ненужная просьба, хотелось мне сказать, потому что имя Антони Пуль (как ему хорошо было известно) встретило бы очень угрюмый прием во всех домах Лондона.

II

Если судить по поверхности, да и вглубь заглянуть довольно основательно, ничего нельзя было сказать в пользу Антони. Я часто раздумывал над тем, какие мысли о себе самом витают в его мозгу в одинокие минуты самосозерцания (даже и у него такая потребность могла возникать время от времени). Ему было тридцать шесть лет! И за четыре года до этой ночи его мятежное социальное поприще закончилось полной утратой всего того, что определяет самоуважение человека и дает ему возможность смотреть в глаза свету. Конечно, никакая утрата не могла смутить Антони, он продолжал смотреть в лицо свету, как смотрел со дня рождения, с какой-то смесью бахвального равнодушия, опасного юмора и зрелой, породистой веселости. Но все-таки у него, наверно, бывали минуты страшных итогов, когда он отдавал себе отчет в том, как безумно поступил, испортив жизнь, которая могла быть так хороша. «Не повезло», утешал он себя, но все-таки иногда, в минуты самоанализа, со свойственной ему резкостью говорил себе, что не все неудачи можно подвести под это понятие.

Я так давно знал Антони, что моя оценка его, уже зрелого, всегда смягчалась в его пользу, благодаря моим школьным воспоминаниям о нем, как о веселом и беспечном товарище, с хорошей головой, но слабый тяготением к работе. Более шумливый и беспокойный, чем другие; хороший спортсмен и игрок во все игры; очень популярный среди тех, на которых он, из-за фантазии, не смотрел как на врагов. Зрелость (или что-то странное, заменившее ее) ударило Антони в голову. Он стал как одержимым, как только покинул Сандхерст; казалось, нем росло что-то, сдабривавшее его недостатки какой-то новой остротой и совершенно затушевывавшее то, что в нем было хорошего. К моему большому удивлению, он оказался сложнейшим механизмом, чего я никогда не подозревал в моем слабом, прежнем Антони. Кто бы подумал, что этот человек, такого высокого роста, красивый, шумно и легко веселый, с довольно гибким умом, благодаря которому он понимающе смеялся в тех случаях, когда признанные умники бывали озадачены, – кто бы подумал, что этот человек, который смеялся смехом средневековья, был так сиит, что все его органы, все душевные проявления, казалось, держались на месте только благодаря обрывкам бечевки.

Не бывало еще человека настолько упорно и жалко слабого; он не мог бороться с собой, принудить себя жить здоровой жизнью, поддерживать равновесие в мыслях. Он был слабый человек, в самом проклятом и действенном значении этого проклятого слова. Но разгадка таилась еще глубже; мало того, что он был слаб, – он готов был пойти на любое страдание (и шел в действительности) скорее, чем открыть свою тайну. Я понял, что этим и объясняются противоречия в Антони; он позировал на сильного, зная сам, что он слаб – унижительная поза, которая тешила тщеславие человека и тем вернее губила его. Ибо свет быть может, и смилостивился бы над Антони, если бы он показал себя таким, каким был, если бы он склонил голову и сознался,

что нерешителен, связан, если бы он хоть раз забыл о детском тщеславии и перестал хвастать и кипятиться при каждой проделке. Он думал перехитрить, одурачить карающую руку, но вместо этого перехитрил и потерял сочувствие.

Такая поза с течением времени должна была неизбежно стать непристойным фактом, и Антони постепенно сделался тем плутом и отщепенцем, какого раньше изображал из себя. Ибо, как бы вы ни были заносчивы, природа имеет свои законы для людей, как для зверей, — законы не отвлеченные, но строго жизненные, которые смущают алхимиков всех видов, к вящему их ущербу. Очевидно, человек не может валять дурака со своей душой, она неизбежно покрывается плесенью его безумия. Так постепенно горкло и прокисало сердце Антони, пока к тридцати годам он не стал Гайдом по отношению к Джекилю своих школьных дней. Видное положение, имя, обеспечивающее приличное количество кредита и уважения (эти подробности могут согреть скучным вечером даже философское сердце) и доход немного больше того, какой обычно приходится на долю младших братьев баронетов, казалось, открывали хорошие перспективы. И, несмотря на все это, через несколько лет он окончательно и бесповоротно убедил публику в том, о чем раньше смутно догадывались, а именно, что он не способен быть ни военным, ни джентльменом.

Не было другого человека с такой заметной наружностью, как Антони, — человека, к которому бы так подходило данное ему прозвище: Красный Антони. Он был очень высок и основательно сбит, довольно щеголевато одет; весь имбирный- и усы, и брови, не поддававшиеся никакой щетке, и волосы, пышные и откиннутые назад; цвет лица-подобающей окраски, но всегда настолько свежий и чистый, что опровергал несомненный факт беспорядочно проведенной ночи. Он был красив, Красный Антони, на взгляд любителей такой красоты, во всяком случае — очень заметен; это ему вредило, потому что, кто его раз заметил, уже не забывал; мужчины и женщины, случалось, переходили улицу, чтобы избежать необходимости поздороваться с ним или неловкости пройти мимо, не поклонившись. Начался целый ряд некрасивых выходов, на которые посмотрели бы сквозь пальцы, если бы не его манера бравировать, которая привела к окончательному, давно предвиденному, отчуждению от него. Про него знали тысячу мелких некрасивых вещей; о них шептались и говорили. Он был человек необузданного темперамента и не умел владеть собой; это было не то бешенство, которое горит внутри и постепенно нарастает, а неожиданные, всепожирающие вспышки, с которыми он и не пробовал бороться. (бывали времена, когда я сам побаивался Антони). С высоты своего роста и несдержанности он отчаянно оскорблял людей за малейшую, воображаемую обиду. В пьяном виде он проделывал безумства, от которых его собутыльники спешно отмежевывались. Он делал то, что, несмотря на послабления современного этикета, нельзя делать, если хочешь остаться по эту сторону Стикса: он не платил карточных долгов, а впоследствии рассчитывался безденежными чеками. Он был центральным лицом бесконечного количества ссор, и если в них бывало замешано имя женщины, то повод никогда не служил к чести Антони: дважды обвинялся он как соучастник в прелюбодеянии и сам ни разу не был женат, — явное нежелание нести ответственность всегда вредит человеку.

Во втором же случае (первый был слишком очевидным результатом неосторожности) он фигурировал в таком некрасивом свете, что в соединении со всеми прошлыми безумствами имя Антони Пуль перестало упоминаться в обществе. Все это произошло за четыре года до той ночи, когда я встретил его на Пикадилли (ему в то время было тридцать два года). После всех своих безумств он продолжал околачиваться в Англии еще два года. Почему — одному небу известно. Никто с ним не встречался, редко кто его видел, кроме меня и, позднее, еще одного человека. Его старший брат Роджер не разговаривал с ним годами. За год до его окончательного отъезда из Англии Антони представился мне в ином, значительно лучшем свете; мы часто встречались тогда. Благодаря безнадежному положению его дел и репутации, он в моей квартире и в моем обществе мог проявлять это новое свое «я». Он был влюблен, он ухаживал тайно

и безнадежно, – потому что какая же девушка решилась бы выйти за него замуж? А кто больше всего дорожит своей честью, как не человек, якобы лишенный ее?.. Но в глубине его сердца таилась надежда, иначе Антони не был бы Антони. Станный человек! Несмотря на грубость и резкость, проявляемую им в тысячах случаев, он мог быть очень вежливым и искренним, когда хотел; мог рассказать что-нибудь, правда чересчур наивно, чтобы это было правдоподобно, но очень весело. Он был забавен в обществе, когда, никто не затрагивал его вздорных чувств и опасного тщеславия, хотя и то не всегда мог удержаться от злостной сатиры, которая с большей пользой для него могла бы излиться на бумаге. Когда я вспоминаю это время; мне становится очень не по себе, так как я по слабости попал в смешное положение.

В продолжение предшествующих месяцев я приобрел привычку стремиться видеть каждый день Айрис Порторлей, – вернее, она любезно разрешила мне приобрести эту привычку. Она любила поболтать в моем обществе, – это было единственным поощрением, когда-либо мною полученным от нее; таким образом, если нам не удавалось посидеть за одним столом во время завтрака или обеда, она что-нибудь выдумывала для того, чтобы зайти ко мне. Она очаровательно-часто прибегала к таким выдумкам, но я всякий раз удивлялся ее приходу. У нее было много способов веселее провести время. С беспечностью человека на десять лет моложе, чем я теперь, я наслаждался ее обществом, не спрашивая себя, к чему это приведет меня. Просто мне тяжело было думать о том, что могло выйти из этого. В глубине моего мозга всегда стояла высокая уродливая стена, заслонявшая окончание приятных минут... И тем не менее я сам навлек неудачу, помогая Красному Антони и подстрекая его в совершенно невозможных и нелепых домогательствах. Впрочем, отдать ему справедливость, он, вероятно, и сам понимал всю их несостоятельность. Можно извинить эту аномалию чувством странной (и вполне сознательной) симпатии, которую Антони всегда возбуждал во мне, в особенности в то время, когда он был окончательно отвергнут всеми и обречен на одинокие трапезы во второсортных ресторанах, где метрдотели вежливо делали вид, будто считаются с его подписью на счетах. Я просто не мог заставить себя, ради себя или Айрис, лишиться его того утешения, которое он находил в ее обществе в моей квартире, обычно в какое-нибудь странное время, между тремя и семью часами, чаще ближе к семи, так как Антони признавал за мной способность готовить недурной коктейль. И хотя, после пробных попыток (если это выражение к применимо к Антони), это перешло в наглое вторжение в мою частную жизнь, я все-таки не имел силы запретить или окончательно помешать явным совпадениям его появлений с ее приходами, – совпадениям, потому что в те дни Антони не говорил ни слова о своем поклонении и ни одним намеком не выражал благодарности за мое содействие; только уходя, лишний раз пожимал мне руку.

Антони был болтливым человеком, но никогда не говорил того, что хотелось бы от него услышать. Положение было очень неудобное для меня. Раз я допустил начало-было немислимо оборвать; только решительное изгнание проняло бы толстую кожу Антони, в которую он облекался, когда ему это было нужно; а это вызвало бы «недоумение» со стороны Айрис, которая, благодаря моим стараниям, начала коренным образом расходиться со светом во взглядах на Антони и строго осуждать людей, которые «покидают друзей, всеми отвергнутых».

Нет конца затруднениям, когда женщина подымается до самых высот кодекса законов, изобретенных мужчинами для их удобства и для устрашения женщин. Я мог утешать себя лишь неблагородной мыслью, что если мое положение в отношении Айрис – положение дорогого Ронни было безнадежно, тем более безнадежно было положение Красного Антони, бедного хвастуна, которого теперь, несмотря на его большой рост и шумливость, не захотел бы заметить даже самый захудалый из ее знакомых. Пускай же человек пробует, раз все равно ничего не добьется.

Когда он с ней встретился впервые, я так и не узнал точно, и не решался спросить; вероятно, в то время, когда он быстро катился под гору, к второсортным ресторанам (о эти ресто-

раны разбитых сердец и разбитых репутаций!). Айрис тогда только что начала выезжать. Как бы то ни было, Айрис знала его лишь по репутации, о которой она часто расспрашивала меня, потому что неодобрение надоевших ей людей сообщало этой репутации своего рода ореол. Когда она одновременно с Антони подходила к моим дверям, она знала о нем немного больше того, что говорила молва. Она быстро заметила тяжелое состояние бедного человека, быстро поддержала его желание поговорить с кем-нибудь приличным, даря свою дружбу такой щедрой рукой, которая делает добрых женщин опаснее вампиров; умно отыскивала в нем хорошее, оставаясь глухой и непонимающей в отношении его поклонения.

Через несколько недель она искренне привязалась к несчастному и однажды заставила меня проклинать свою глупость, неожиданно сказав: «Я предполагаю, что существует множество людей, которые думают, что встретили Наполеона, а в конце концов они убеждаются, что это всего только Антони... и тем приятнее».

III

Была еще одна причина, не зависящая от чувства симпатии, которая заставляла меня сравнительно благосклонно относиться к влюбленности Антони, хотя он и забирался в мои владения. «Отчего не развлечься, раз все равно приходится страдать», думал я. Предо мной разыгрывалась драма, будто для моего развлечения. Впрочем, тогда я этой тщеславной мыслью не тешился, – она пришла мне в голову позже. Пока я поневоле наблюдал за скромным ухаживанием Антони, между тремя и семью часами, а по вечерам иногда проводил параллель в том обществе, которое Антони так старательно и непростительно оскорблял. Из всех предполагаемых женихов мисс Порторлей ни один, по общему мнению, не имел столько шансов, как Роджер Пуль, и этот взгляд за последнее время приобрел особенно много сторонников, так как они постоянно встречались в одном и том же обществе. Понятно, люди, интересующиеся чужими браками, имели некоторые основания: оба, каждый по-своему, пользовались известностью. Айрис в наши дни иллюстрированных журналов и фотографических снимков слыла «красавицей», черты лица и «развлечения» которой были так хорошо всем знакомы, что она могла стать героиней любого романа; а Роджер Пуль уже в тридцать три года был персоной. Я слышал о нем отзывы как о единственном молодом человеке теперешнего поколения энергией блестящего политического деятеля; несмотря на состояние, приписываемое ему молвой, он был в двадцать шесть лет активным членом, а теперь лидером оппозиции, и, несомненно, несмотря на свою молодость, оказался бы у дел в случае падения либерального министерства. Расцветка братьев Пуль была распределена следующим образом: Антони, на один год моложе брата, был, как я уже говорил, красный и сумасбродный, а Роджер, тоже высокий, но тоньше и фигурой, и лицом (профиль его иногда сильно походил на лезвие ножа) был гораздо темнее брата. Черные глаза, мрачные, но умные, казалось, всегда горели какой-то тайной мыслью. И действительно, слишком много было «тайных» мыслей у Роджера, и это лишало вас уверенности, когда вы находились в его обществе. Но, несмотря на свою серьезность и вопреки тому, что можно было ожидать от человека его способностей и честолюбия, Роджер был таким же материалистом, как и его брат, но обладал тем, чего не было в Антони – здравомыслием и уравновешенностью, которые служили противовесом его неутомимости и попустительству в отношении себя. Роджер Пуль всегда знал, чего хочет, и, будучи честолюбивым, всегда внешне дисциплинировал себя и держался в рамках условностей светского общества; если бы его успехи продолжались, он, как это ни странно, стал бы его арбитром. Но, как строго он ни дисциплинировал себя (удивительная способность притворяться, которая вызывала во мне зависть), его наклонности все-таки проявлялись, но всегда таким образом, что выставляли его в самом выгодном свете; то же было бы и с Антони, если бы он не вел себя так глупо.

Роджер выказывал эти наклонности так, что это можно было охарактеризовать словом «романический», словом приятным, когда оно применяется к человеку, имеющему имя, красивую наружность и способности. Он даже мне казался романической личностью. В нем не было ничего постоянного, как у всех наших знакомых; всегда создавалось впечатление «движения», и невольно приходила в голову мысль, что этот человек идет к чему-то великому. Невольно думалось: его тень имеет увлекательного компаньона. Все идут определенной дорогой к определенной цели, а Роджер Пуль был неожиданным и освежающим исключением, каким-то авантюристом, признанным обществом; он был полон возможностей, и это заинтересовывало... Кроме того, в его красоте не было ничего банального или пошлого; худое, длинное лицо, тонкие твердые линии которого производили впечатление черствости; среди англичан он выделялся своей бледностью; в выражении лица таилась некоторая угрюмость. В нем было что-то, что в разговоре с ним заставляло каждого озабоченно покопаться в своей душе, и это состояние коренным образом разнилось от того, в которое в свои счастливые дни приводил Красный Антони своими шумливыми, злыми выходками.

Неуверенное положение по отношению к Антони заставляло меня с интересом наблюдать со стороны за единственной игрой, которая открыто ведется краплеными картами. Оба брата, – совершенно различные во всем, если не считать возраста и имени, ухаживали за одной и той же женщиной, которую я тоже любил, и любил, может быть, больше их, без той заметной и беспокойной страстности, которая делает любовь мужчины значительной даже для самой равнодушной женщины. Думаю, что вкус к театральности, кроющийся в каждом из нас, придавал для меня особую остроту этому зрелищу; а между тем, в этом было что-то очень грустное и вызывающее жалость, тем более, что все должно было идти естественным ходом, согласно логике вещей и независимо от того, как бы очаровательна и далека ни была женщина. А Айрис, несмотря на всю свою гордость и красоту, золотые волосы и иногда слишком чужие глаза, в действительности так же мало значила в этом деле, как Антони или я, ибо у Роджера Пуля составила репутация, которую он должен был поддерживать не только в глазах света, но и в собственных, – репутация человека, которому постоянно везет. Кроме того, к счастью или к несчастью, но Айрис сразу влюбилась в него.

Ей было двадцать два года, и она до этих лет прожила жизнь, полную удовольствий и развлечений. В ней была какая-то странная отчужденность от окружающего, которое она не могла полностью принять. И это качество, безотносительно от ее желания, сохраняло ее нетронутой и неизменной. Таким образом она многое отвергала и всегда отвергала, – больше даже, чем предполагали те, кто хорошо ее знал. Вначале я думал, что эта отчужденность от окружающего являлась одним из обыденных и скучных кривляний молодого поколения, но скоро понял, что это было искренно, что это мучило ее душу и глубоко ранило сердце. Это не значило, что она превосходила других или была всем пресыщена (хотя ее в этом обычно обвиняли те, кто оставался недоволен приемом, который встречали у нее непристойности, называемые культурными людьми остроумием). – просто, она никогда не убаюкивала себя мыслью, что ее жизнь что-либо иное, кроме фазы юности, – будет и другое, конечно, – а из всех мужчин, попадавших на ее пути, интересными оказывались всегда чересчур старые, а молодые – чересчур глупыми и настолько же нестоящими любви, насколько сами были неспособны любить. «Когда-нибудь, когда-нибудь», – пошутила она однажды, – «явятся сумрачные люди с умными жестами...» Явился Роджер Пуль. Он, по крайней мере, был настоящий и давал ей то, о чем она тосковала – чувство чего-то законченного и вместе с тем текучего. Это плохо выражено, потому что можно заподозрить, будто Айрис льстил успех. А этого никогда не было, и она совершенно не походила на свою ловкую и очаровательную мать, которая умела в один миг превратить свирепого льва в дрожащего осла. Айрис желала восторгаться, преклоняться – это было самой цельной чертой ее натуры.

Она была женщиной с определенными желаниями, которая, вероятно, предъявила бы всем своим существом требования на тело и душу мужчины, без всяких иллюзий насчет духовности и разумности своей любви. Айрис была божественно-земная, и, может быть, потому-то так очаровывала мужчин. Если бы не появление Роджера, она годами продолжала бы выслушивать приличные и неприличные предложения молодых повес и финансистов, разбой которых узаконил свет, и ни одному из них никогда не удалось бы довести ее или себя дальше загородного дома или Довиля. Так она жила, присматриваясь к окружающему, задумываясь над грядущими возможностями, жила в состоянии душевной спячки, с возрастающей внутренней грустью поджидая, что «нечто» случится; это «нечто»-исполнение надежд, которое пробудит к жизни женщину в ней; это «нечто» близкое элементарной страсти и диким желаниям, присутствие которых в ней пока выражалось только невольным напряжением всего тела при поцелуе, даже мало желанном.

Ее душа могла пойти на компромисс и часто отчаянно на это решалась, но тогда-будто неумолимое железо проникало в ее тело, и его уже никак нельзя было склонить к приятию. Итак, однажды, когда она разглядывала привычную картину переполненной людьми комнаты, с каким облегчением, – хотя в эту первую минуту еще и туманно, она, вероятно, почувствовала, что» нечто, наконец, случилось, что Роджер Пуль, переходивший комнату, вступил в ее жизнь. До того она лишь однажды встретила с ним, четыре года тому назад, когда она впервые появилась в обществе, а он недавно вернулся в него. Она, конечно, много о нем слышала и не только о его политической деятельности: Роджер с какой-то надменностью отошел только-что от того, что считал скучным и надоедливым в жизни и против чего Айрис еще не начала протестовать (если не считать протестом требование собственного ключа, вызвавшее у матери истерический припадок). Многие друзья Айрис уже давно удовлетворяли свои стремления к удовольствиям, по своему вкусу или вопреки вкусам других, но она лишь искоса поглядывала на эту сторону жизни. Она должна была сознаться самой себе, что в ней, вероятно, отсутствовала струнка веселья, потому что ее так же мало занимало выпить рюмку абсента в Кафе Рояль в обществе, предположим, артистов, как и участвовать в шумных обедах, устраиваемых аргентинцами и другими богатыми людьми для женщин, драгоценности которых, пожалуй, казались Айрис заслуживающими внимания.

На одном таком обеде, единственном, на котором она присутствовала, один американский миллионер, суетливый, маленький человек, с располагающим к себе чистосердечием, прямо, без обиняков, предложил подарить ей Ролл-Ройс, и ей удалось отговорить его от этой затеи только уверив его, что ее мать имеет точно такую же машину. Таким образом Айрис рано узнала, что кокетка из нее вышла бы плохая. Ей всегда хочется смеяться каким-то звенящим голосом, говорила она мне, совсем неподходящим к случаю смехом, в разгар развлечений и приключений, которым ее знакомые временами предаются. И то, что творилось в студиях и тому подобных местах, также казалось ей скучным, анемичным, не чистым; наводило ее на самоуверенные мысли, за которые она горько упрекала себя, потому что следовало быть менее заносчивой перед этими молодыми людьми, которые в конце концов все-таки пытались что-то делать. Точно также затяжные трапезы с папиросками и ликерами в угрюмых ресторанах Сохо и Фитц-Ройстрит с молодыми людьми из Оксфорда казались ей утомительной обязанностью, уступкой той части ее души, которой, по словам ее друзей до смерти должна была надоесть «умственная инертность» жизни, которую она вела». . . Но она честно делала все возможное, усердно пробовала то и другое и, к счастью, вышла невредимой, выслушав лишь одно предложение автомобиля и несколько предложений замужества, – конечно, не от миллионера, который наивно объяснил, что он слишком ее уважает, чтобы просить так много, – а от молодых беспозвоночных.

Она давно пришла к заключению, что очень часто говорят массу глупостей о несправедливых преимуществах богатых людей; ведь они в конце концов готовы заплатить очень при-

лично за девственность, тогда как молодые люди имеют дерзость требовать целую жизнь взамен за их опустошающую страсть. Все это сказано, чтобы объяснить, что могла бы сделать Айрис, если бы она более решительно свернула с обычного пути; тогда она чаще встречалась бы с Роджером Пуль; с обычным уничтожающим видом человека с тонким чутьем, знающего себя до самых строжайших оттенков, – он пребывал в самой гуще этой лихорадочной жизни, не слишком поддаваясь лихорадке. Он чувствовал себя на равной ноге и с крупными и с менее значительными знаменитостями, а в совершенно другой атмосфере Сен-Джемского клуба был известен как хладнокровный и счастливый игрок, и когда он высказал однажды глубокий парадокс, что «хороший игрок никогда ничем не рискует», то это, говорят, так подействовало своей явной невыполнимостью на некоего богатого молодого человека, что тот тотчас женился на престарелой миллионерше.

Короче говоря, Роджер намеревался восстановить известные традиции; он это делал без всякой аффектации, потому что эти традиции были его собственными и очень шли к нему; действительно, они подходили к нему, как когда-то подходили к молодым политикам прошлого столетия. Не требовалось большой проницательности с его стороны, чтобы заметить странный дефект в молодых людях его поколения, они не могли и не желали придать своей распущенности известный блеск, или блистать с некоторой распущенностью, за что их называли бы славными малыми, короче говоря – они были или расточителями, или повелителями. Они казались совершенно неспособными соединить свои удовольствия и дела в одно прочное целое, как это делали люди в те времена, когда на Сен-Джемс-стрит были еще клубы, а не музеи редкостей; когда люди с головой и славными именами еще не настолько забыли чувство самоуважения и правила воспитания (хотя бы даже они и были развращены), чтобы оставаться вполне равнодушными к политике и культуре своей страны; когда считалось пустяком сказать про кого-нибудь, что он совратил с пути истины жену друга, лишь бы он в ту же ночь остроумно проделал то же самое с Палатой Общин; когда, наконец, считалось обязательным для каждого джентльмена быть заинтересованным в поддержании или сокрушении столпов конституции... Но теперь? Остались одни расточители, в самом лучшем случае – незначительные дилетанты в искусстве и картежной игре, и пьяницы, которые отталкивали не своим пьянством, а своей нудностью. Можно было пробродить по западному Лондону с полночи до полудня и потерять всякую надежду увидеть хотя бы намек на товарища по плечу себе. Роджер вдруг окунулся в эту пустую жизнь, пересоздал ее, так сказать, в глазах общества, с которым никогда не переставал считаться, а пересоздав, с успехом жил этой жизнью до тридцатичетырехлетнего возраста, когда вернулся в общество, которое он всегда презирал за скуку, но никогда ничем не оскорбляя, если не считать самых симпатичных сумасбродств. Он вернулся в него с утешительной мыслью, что ни одна влиятельная вдова не может сказать о нем ничего худшего, чем сомнительное: «Это замечательный молодой человек». Из того немногого, что он мне говорил, я знал, что главной причиной его возвращения в общество явилась мысль о женитьбе. Настало время выбрать жену, но он никогда не предполагал, что влюбится в нее, как влюбился в Айрис Порторлей, в Айрис такую, какой я пытался изобразить ее в двадцать два года, жаждавшую чего-то гораздо более жизненного и реального, чем то, что давало ей окружающее, полусознательно ожидавшую, что, нечто должно случиться.

Удивительно ли, что и она влюбилась в него, и не столько в него, как в свое представление о нем? Только очень жестокосердый критик способен отрицать реальность любви, оттого что она тронута волшебством. Разве история знала когда-нибудь очаровательную реальность без очаровательного волшебства? Как бы вы ни были молоды, поцелуй куртизанки – только поцелуй куртизанки, и как бы вы ни были уравновешены, поцелуй любимой – волшебная сказка... Я не задавался вопросом, сказала ли Айрис Роджеру о том, что она встречается с его братом. Я был уверен, что она не говорила, и так как Роджер никогда не упоминал имени Антони даже при мне, а суровость Роджера не позволяла затрагивать с ним неприятных ему тем, было мало

шансов на то, чтобы они заговорили об этом. Но знал ли Антони об иронии параллельного ухаживания брата? Я предполагал, что он что-то слышал, так мне показалось из оброненного им однажды намек; но во всяком случае, если он и слышал, то очень туманно и неясно; в противном случае, если бы до него дошли определенные слухи о том, что Айрис собирается выйти замуж за Роджера Пуля, его новое «я», его мягкость не выдержали бы.

Я часто думал о том, как примет Антони известие об этой помолвке, когда она официально состоится... Я оставил их в тот день наедине. Когда я вошел обратно в комнату, я услышал звук закрываемой входной двери. Антони сидел за моим письменным столом и, повернувшись, без улыбки посмотрел на меня. Он казался утомленным. Я думал, что ты куда-то ушел, и хотел оставить тебе записку, объяснил он, и на мой вопросительный взгляд ответил вспышкой свойственной ему наглости, поблагодарить тебя за то, что ты был добрым малым, Ронни, и за то, что ты такой ловкач в постановке пьес. Это было единственным намеком, который он когда-либо сделал, и с какой насмешливой ужимкой это было сказано! Я, конечно, ответил бы ему, если бы это не объяснялось его очевидно безнадежным состоянием. Я сердился на его мрачную сговорчивость, на усталое выражение его лица. Неблагодарный каких мало, он считал, что жизнь плохо с ним обошлась, между тем как сам не переставал колотить ее до тех пор, пока жизнь не стала его врагом. Он должен был бы быть благодарен уже за то, что встретился с Айрис... Через десять минут он ушел, говоря:

– Я уезжаю за границу, направление на Мексику; предполагаю, что ты меня долго не увидишь, Ронни; думаю даже, что нет никакой причины встретиться нам когда-либо снова. – Протянутая для пожатия рука, проблеск настоящей благодарной улыбки. Это было так похоже на него. Небольшой проблеск благодарности при прощании надолго. Итак, Красный Антони уехал, не оставив ничего за собой в Европе. Только изредка у меня и у Айрис возникал вопрос, где он может быть и что может делать в данное время. Я часто раньше думал о том, почему он не уезжает из Англии, и теперь, когда он этот шаг сделал, я не сомневался, что он долго будет держаться вдали – в презрительном отдалении. И в самом деле, зачем ему было возвращаться? Спустя месяц после его отъезда Айрис и Роджер обвенчались. Я был шафером.

IV

Все это случилось два года тому назад. И вот, я ночью, спустя два года, качу в таксомоторе по безрассудно высокой таксе в дом Роджера Пуля в Реджент-парке, а Антони вернулся в Англию... За эти годы сильно ухудшилось мое душевное состояние, что не имело бы никакого значения для данного рассказа, если бы не причины, вызвавшие это ухудшение. Большинство из нас в теперешнее время пребывают в состоянии более просвещенном, чем обыкновенное постоянство. (Один армянин однажды сказал мне, что его отец и мать любили друг друга в продолжение шестидесяти лет. Пожалуй, это одно из тех преувеличений, которые свойственны угнетенным). Поэтому всегда кажется невероятным, если нормальный человек находится столько времени в лихорадочном состоянии из-за чувства к женщине, тем более (надо быть правдивым), когда он ничего не получает взамен. А между тем, это легко объяснимо. Нельзя быть догматичным, говоря о состоянии любви; одно только можно сказать, что оно полно глубоких, логических противоречий. Как бы вы ни относились серьезно к своей страсти (вы и я, конечно, а не люди, не идущие в счет), вы не можете вечно досаждать женщине, которая так нечувствительна к вашим прелестям, что не только вышла замуж за другого, но даже по-настоящему счастлива с ним. Запоздалое чувство юмора должно прийти вам на помощь и назойливо указывать вам на довольно смешную фигуру, которую вы представляете собой, носясь со своей страстью, никому решительно не нужной. Как-никак, вполне понятно, что уверенность в ее счастье должна неминуемо что-то уменьшить в пламени вашей любви, оно начинает замирать все больше и больше... Конечно, если вы не юный поэт, озабоченный своим

превосходством и сонетами; в таком случае вы будете писать ей целый цикл последних, доказывая первое, и перенося свидание в лучший мир, когда ваши тела (которые причинили вам столько огорчений) уже истлеют. Нет; несчастная любовь, такая, как та, о которой я говорю, должна чем-то поддерживаться, чтобы продолжаться; а что может служить лучшей пищей для любви, как не мысль о том, что она – несчастна? А Айрис была несчастна, – отсюда понятна и моя упорная любовь к ней. Но крайности? Чем объяснить их, как не самоуверенностью? Как грубо звучит, если сказать, что были минуты во второй год ее замужества, когда Айрис доставляла мне острое ощущение близости, почти физической близости; будто на нашем намеченном пути мы с каждым днем приближались к месту, где дорога будет настолько узка, что мы невольно должны будем соприкоснуться, и тогда настанет всепоглощающий момент...

Я долгое время ничего не знал о том, что Айрис несчастна; счастье кончилось вместе с медовым месяцем, а ее лучший друг долго и не подозревал об этом. Если бы я мог предположить, что она может быть несчастна, ожидал бы этого. Весь первый год после свадьбы казалось, что брак будет удачным. Год прошел оживленно и многолюдно. Роджер любил все хорошо обставлять. Наследственные капиталы Пулей представляли собой нечто внушительное, но, по общему мнению, «нынешний баронет» значительно увеличил их удачными спекуляциями и игрой, а жена получила хорошее приданное. Таким образом он мог осуществлять все свои желания и всячески угождать своей страсти к светским развлечениям, лишая людей сна. Дом в Реджент-парке, с пышными, слишком пышными комнатами, и садом, спускавшимся к самой воде-неизвестно, реке или озеру, бывать там приходилось только ночью, – этот дом стал постоянным местом вечеров и празднеств. Это было каким-то жертвоприношением из напитков, карт и танцев; оттуда выходил, несколько часов спустя, совершенно другим человеком. В этом доме каждому приходилось пить больше, чем он когда-либо пил. Этого почему-то требовала атмосфера дома; часто приходилось слышать, как один говорил другому, что ему с самого выхода из Оксфорда не приходилось столько пить. Но это были не просто вечера. Роджер, как я уже говорил, знал, что делает, и теперь вокруг него, вокруг карточных столиков и буфетов создавалось небольшое, но властное ядро людей, которые тщательно скрывали свои намерения под личиной распутства и безумств данной минуты. Он постепенно делался лидером новой старой школы, враждебной расточителям и безразличной дуракам. Со своей, в конце концов, значительной высоты положения и средств он побуждал наиболее многообещающих из своих одноклассников и из молодежи вести образ жизни, который он находил полезным, симпатичным и приятным, а именно: хорошо думать, и хорошо жить, сильно жить и сильно работать...

Если хорошенько вдуматься, философия не особенно возвышенная и оригинальная, принимаемая во внимание, что Гарун-аль-Рашид жил и умер много лет назад. Но возвышенная ли, нет ли, это была философия с большой долей практического высокомерия, а просто удивительно, как на людей влияет все, что кажется практичным их высокомерию. Я думаю, что совсем не трудно вдохнуть в людей свое личное понимание жизни, когда обладаешь преимуществами Роджера Пуля, преимуществами не только средств и способностей, но и его вида и наружности, а в довершение всего обладаешь такой женой, – преимущество, которое стоит всех остальных.

Само собой разумеется, я не сомневался, что она была счастлива в продолжение этого года. Она казалась вполне довольной, да и почему, спрашивается, могла она быть недовольна? Из всех людей, которые могли встретиться и встречались ей на пути, Роджер Пуль, несмотря на свою слабость к картам и напиткам, был, конечно, самым изысканным и подходящим, а главное-он был самым любезным, самым внимательным мужем, который, отбросив свойственную ему сардоническую сдержанность, даже на людях нежно ухаживал за женой. Я лично находил, что, благодаря сумасбродствам Пуля, год прошел очень весело. Айрис после своего замужества была занята своим домом и гораздо реже заходила ко мне. Я был сбит с толку как парившим вокруг нее весельем, суетой, так и ее лицемерной скрытностью. Из нее выработалась прекрасная хозяйка (мне, как старому другу, не позволялось пропускать ни одного вечера: кто же тогда,

говорила она, вдохнет в меня необходимую мне самоуверенность?). Она вызывала веселье. Какой плоской кажется эта фраза, когда я подразумеваю тот подъем, который я ощущал при виде этой фигуры, появляющейся то там, то тут в ярко или слабо освещенных белых комнатах знакомого дома! А ее волосы, эти непослушные, золотые волосы! Они были так пронизаны богатыми оттенками янтаря, что всегда казались самым ценным украшением комнаты; в них таилось какое-то удивительное и чудодейственное свойство излучаться, тешить все взгляды, даже самые привычные, когда она быстро скользила по многолюдной комнате.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.